

DOI: 10.31857/S241377150008615-9

## Наследие и научная школа Н.И. Либана

© 2020 г. И.А. Беляева

Доктор филологических наук,  
профессор Московского городского педагогического университета,  
Россия, 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, к. 1  
belyaeva-i@mail.ru

*Дата поступления материала в редакцию 5 декабря 2019 г.*

*Дата публикации: 29 февраля 2020 г.*

**Резюме.** Статья посвящена оценке научного наследия одного из самых известных преподавателей филологического факультета Московского университета — Н.И. Либана (1910–2007), чья научно-методическая деятельность продолжалась более 60 лет. Поводом для аналитического осмысления научных идей и подходов Либана стало издание его собрания сочинений и устных выступлений (с 2014 по 2017 г.). В статье показывается, что Либану удалось — в основном, в рамках лекционных и семинарских курсов о русской литературе, со времен Древней Руси и до начала XX века — создать целостную авторскую историю русской литературы. Эта история скреплена единой идеей — идеей личности — и методом, который сам ученый зачастую называл социологическим, но не “вульгарным”, поскольку в его основе лежал интерес к широкому пласту литературных фактов, имен, событий, составляющих, по его мнению, существо литературной жизни той или иной эпохи. Науку о литературе Либан понимал именно как историю литературы, предлагая своим ученикам относиться к изучаемому материалу филологически, а значит, с учетом всех сфер жизни, в которых запечатлены человек и слово, что и составляло основу его научной школы.

**Ключевые слова:** Н.И. Либан, история русской литературы, история науки, филология, методология и методы научного исследования, филологический факультет, Московский университет.

**Для цитирования:** Беляева И.А. Наследие и научная школа Н.И. Либана // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2020. Т. 79. № 1. С. 82–94. DOI: 10.31857/S241377150008615-9

## The Heritage and the Scholarly School of N.I. Liban

© 2020 Irina A. Belyaeva

Doct. Sci. (Philol.),  
Professor of Moscow City Teacher Training University,  
4–1 The 2nd Selskokhozhaystvenny Pr-d, Moscow, 129226 Russia  
belyaeva-i@mail.ru

*Received by Editor on December 05, 2019*

*Date of publication: February 29, 2020*

**Abstract.** The purpose of the article is to assess the scientific-and-scholarly heritage of Nikolai I. Liban (1910–2007), one of the most famous professors of the philological faculty of the Moscow University, whose research and methodological activity lasted for more than 60 years. The reason for the analytical understanding of Liban’s scholarly ideas and approaches was the publication of his collected works and oral presentations (from 2014 to 2017). The article shows that Liban was able, mainly in the framework of his lectures and seminars on Russian literature from Ancient Russia to the beginning of the 20<sup>th</sup> century, to create an authorial and holistic History of Russian literature. This History is united by a single idea — idea of personality — and by a method that the scholar himself often addressed as sociological, but not “vulgar sociological”, because it was based on the interest in a wide range of literary facts, names, events, which, in his opinion, constituted the essence of the

literary life of a particular epoch. Liban understood the “science of literature” precisely as the history of literature, inviting his students to relate philologically to the material being studied, which means taking into account all areas of life in which the person and the word are embodied, which formed the basis of his academic school.

**Key words:** N.I. Liban, a History of Russian Literature, History of Science and Scholarship, Philology, Research Methodology and Methods, Faculty of Philology, the Moscow University.

**For citation:** Belyaeva, I.A. *Naslediye i nauchnaya shkola N.I. Libana* [The Heritage and the Scholarly School of N.I. Liban]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2020, Vol. 79, No 1, pp. 82–94 (In Russ.) DOI: 10.31857/S241377150008615-9

“...для него найдутся читатели во всем мире.  
Но когда? И отвечая себе, сказал: всегда”

Н.М. Карамзин о Лафатере  
(Из лекций Н.И. Либана)

Слово, запечатленное на бумаге, отличается от слова произнесенного тем, что может быть транслировано в большое время. Это в полной мере относится к изданию наследия Николая Ивановича Либана (1910–2007), научное имя которого сейчас хорошо известно<sup>1</sup>. Речь идет о трехтомном собрании сочинений, который с интервалами во времени выходил под единым названием “Русская литература” в издательствах “Прогресс-плекса” и “Водолей” с 2014 по 2017 год [3]; [4]; [5]. Большая часть вошедшего в это издание материала составляют лекции Либана по русской литературе, устные воспоминания, записанные его учениками, а также научные публикации разных лет, прежде всего, словарные статьи о писателях демократического направления, неопубликованные архивные документы и художественная проза. Некоторые из вышеперечисленных работ увидели свет еще при жизни Либана, это касается, прежде всего, центрального труда ученого, лекционных курсов по истории русской литературы Древней Руси и литературе XVIII века [6]. Они и в новом трехтомнике являются стержнем и основой для других историко-литературных очерков и построений, поскольку Либан за свою долгую преподавательскую жизнь в Московском университете успел, как он признавался сам, прочитать “все курсы: историю древнерусской литературы, литературы XVIII века, литературы XIX века, спецкурс по теории литературы, спецкурс по введению в литературоведение и еще 23 авторских спецкурса” [5, с. 412], так что в целом

образовалась внушительная книга, которую условно можно назвать авторской Историей русской литературы от древних веков до новейшего времени, с ответвлениями, причем подчас интереснейшими и внушительными, в виде курсов по творчеству Н.М. Карамзина, М.Ю. Лермонтова, Н.Г. Помяловского, Н.С. Лескова и др.

Конечно, Либан едва ли ставил перед собой сверхзадачу написать свою, альтернативную академической и многотомной, историю русской литературы, но так получилось, что он это сделал. Сейчас очень много размышляют о таком явлении, как постнаука, так вот можно сказать, что Либан всю жизнь работал именно в подобном ключе: говорил о сложном, о научных и подчас спорно-неразрешимых вещах не то чтобы упрощенно, но именно просто и ясно, поэтому если либановскую Историю русской литературы будет читать ученый, то он непременно захочет вступить с этой книгой в научную дискуссию, чрезвычайно полезную и плодотворную для него, поскольку в ней бьется, в хорошем смысле слова, полемический пульс, но если его книги откроет читатель, не отягощенный филологическими знаниями, и он не почувствует себя лишним. Это удивительное свойство устного слова Либана не исчезло в книжном варианте.

Николай Иванович Либан – легендарный преподаватель Московского университета, личность уникальная по масштабу знаний и исследовательскому взгляду на предмет, поскольку его лекции всегда содержали множество вопросов, которые затем могли стать основой как для курсовой работы, так и дипломного или иного, уже большого исследования; по влиянию на своих учеников, коих у него за долгие годы преподавания накопилось много, и среди них есть немало известных имен. Либан умел учить, вовлекая своих слушателей в процесс понимания текста, что невозможно без погружения в историю, общественную жизнь, культуру эпохи. В этом смысле он был настоящим филологом.

В настоящее время в трехтомном собрании сочинений Либана опубликованы в полном объеме не только его знаменитые лекции, но и другие

<sup>1</sup> Как отмечает С.И. Кормилов, посмертно изданные книги, включившие кроме лекций письменные работы Либана, его воспоминания, а также воспоминания о нем, сделали его известным: “Для тех, кто у него не учился, он сразу вырос в чрезвычайно представительную фигуру” [1, с. 133]. Имя ученого зафиксировано в авторитетном издании “Русские литературоведы XX века. Библиографический словарь” [2].

историко-литературные работы, а также уникальные архивные материалы и расшифровки аудиозаписей, знакомящие читателя с Либа́ном-ученым и человеком, который боролся за свою научную позицию, отстаивал свое мнение, что, несомненно, представляет собой яркое свидетельство из истории отечественной филологической науки XX века.

Один из самых известных лекционных курсов Ли́бана был посвящен истории русской литературы XI–XVII вв. По сравнению с предыдущими изданиями, в частности, 2005 года, в собрании сочинений он лучше структурирован: каждая лекция тематически определена и собственно само оглавление может представить читателю логику научно-методической мысли Ли́бана, где наряду с описанием периодов и “жанров”, требуемых в любом подобного рода историко-литературном курсе, есть место для имен и человеческих судеб. “Периодизация очень важна, — замечает Ли́бан, — и для понимания истории, и для работы с материалом, во время которой необходимо направлять и ограничивать себя” [3, с. 23]. Но для Ли́бана “древнерусская литература”, как ее принято называть, не безличностна, огромное внимание он уделяет простым людям — чего, например, стоит драматическая и ироническая одновременно история крещения русского человека, рассказанная в первой лекции, — и собственно древним “писателям”, хотя сама специфика авторства в древнерусскую эпоху, казалось бы, этому сопротивляется. Но “свет” этих людей, полагает Ли́бан, “озаряет будущее, даже если потомки не помнят о них” [3, с. 192]. Ли́бана привлекал Новгород как “интеллектуальный мир русского средневековья” с его “первыми ересями” и чувством свободы [3, с. 120]. Ему был интересен “нестяжатель” Нил Сорский, любимый его “герой”, представляющий собой сокровенную, хотя и не магистральную (в силу обстоятельств) линию русской духовности. Или Иван Хворостинин, личность которого, по мысли Ли́бана, “жизнью своей” могла бы “помочь раскрыть тайный смысл” Смутного времени гораздо лучше, чем “подробности жизни Федора, Бориса, Шуйского”, и который “быть может, был первым русским научным атеистом <...> за сто лет до Петровской эпохи” [3, с. 167]. Или история Юлиании Лазаревской из жития, написанного “ее сыном Дружиной (или Каллистратом)”, в котором речь идет об “обычной женщине XVII века”, взявшей “на себя бремя всех женских тягот”, но доказавшей самой своей жизнью, что “божеское в человеке очень сильно” [3, с. 178]. Ли́бан в лекциях ничего не говорит о презумпции духовного смысла

в древнерусском памятнике, но он показывает, насколько этот смысл важен.

Будучи сам человеком сокровенного религиозного чувства, Ли́бан фактически подводит своих читателей к фундаментальному вопросу, который был им сформулирован в статье 1997 года о “Кризисе христианства в русской литературе и русской жизни” (публикация в кн.: [4]). Речь в этой работе идет об эпохе рубежа XIX–XX вв., которая, по мысли ученого, стала “периодом необыкновенно повышенного интереса к христианству, а в сущности, его разрушением” [4, с. 512]. И “конца” этого кризиса (в данном случае речь идет о современности), как настаивал Ли́бан, “еще не видно”: “Больной на грани страшного исторического рубежа! Как будет дальше — история покажет” [4, с. 518]. Многие из “древнерусских” лекций ученого уже предопределяют этот вопрос о кризисе христианства, поскольку настоящее невозможно понять без погружения в прошлое. И в этом плане Ли́бан всегда подчеркивал, что литература и история представляют собой общее поле, и любил говорить, что занимается именно историей литературы. В любом случае, религиозные вопросы в русской жизни и культуре предполагались у Ли́бана всегда, какого бы материала и какой бы эпохи он ни касался. Его емкие и точные заключения, а подчас и приговоры, были обусловлены глубоким проникновением в материал. Об этом свидетельствуют, например, либановские заметки на полях книг Л. Н. Толстого “Исповедь” и “Краткое изложение Евангелия” (опубликованы в кн.: [4]), которые бережно извлечены из архивов ученого. Они красноречиво говорят о том, насколько значимой для Ли́бана была эта проблема. Записи, как указывают комментаторы, датировать невозможно, однако на них есть налет определенного времени, когда на подобные темы особенно не рассуждали. Но Ли́бан понимал, что толстовская критика Евангелия есть ключ к пониманию творчества писателя. “Разбив догмат о Троице, — записывает Ли́бан, — <Толстой> не смог принять божественность Христа. Надо своего создать. Человека, понятного человеку, т.е. Толстому” [4, с. 596]. В целом заметки Ли́бана на полях “Евангелия” Толстого есть свидетельство той научной лаборатории, которая была закрыта для слушателей его простых и ясных лекций, но без которой была бы недостижима их вершинная простота и ясность.

Лекции Ли́бана отличаются системностью: всё связано со всем, и эти нити наверняка почувствует внимательный читатель его общих и специальных курсов и проведет свои линии. Уже в “древнерусских” лекциях Ли́бана идея “становления личности” прорастала постепенно — она станет

основой его курса по истории русской литературы XVIII века. Но не только идея личности цементирует историко-литературную мысль Либана. Его лекции дают возможность понять, каково было значение Слова в жизни русского человека, причем в разные эпохи, когда весомость “слова” подчас уступала место материальному строительству. У Либана есть такое любопытное рассуждение о Новой России, которую создавал Петр I, а затем приращали его преемники, — об их приобретениях, основанных, в частности, на военных решениях: “Но какой ценой все это давалось? Ценой необыкновенных усилий. Вообще Россия — та страна, которая воевала людьми, создавала людьми, строила людьми. Человек, будучи в центре внимания, в сущности говоря, очень мало ценился. Ценились его руки и ум. Но спрос был огромный — и на то, и на другое” [3, с. 197]. “Очень мало ценилась”, по мысли Либана, в начале XVIII столетия и литература. “Я бы даже сказал, — резюмирует он, — ее вообще не ценили” [3, с. 198]. Так “человек” и “слово” у него оказывались связаны друг с другом, хотя бы общей судьбой, если так можно сказать. Но интерес к проблеме “человека и слова” у Либана справедливо имел филологический ракурс, поскольку “каждый филолог знает, что самой большой силой обладает слово”, “а нефилолог этого не знает, но все равно ощущает, что это сила” [3, с. 199], оттого со временем потребность в “слове” люди осознали и стали ценить тех, кто им владеет: “И люди XVIII века все это поняли, и настолько хорошо поняли, что решили, что этому надо учить, что без этого невозможно жить, как им представлялось” [3, с. 209]. Так, взлет русской словесности в дальнейшем был, по мысли Либана, подкреплен и предопределен живой потребностью человека в “искусстве слова”. Всё дальше органично встает на свои места: и фигура Феофана Прокоповича, и деятельность Киево-Могилянской коллегии, и интерес к театру, и “филологический” и человеческий подвиг В.К. Тредиаковского. И опять, как это обычно бывает у Либана, всё со всем связано и ничего не случается просто так. Например, в лекции об А.П. Сумарокове не случайно заходит речь о школе, в данном случае о Шляхетном корпусе, как о “необыкновенно сильном институте государства” [3, с. 228]. Интерес к этому институту Либан испытывал всегда, в частности, когда изучал бурсу, детально описанную Н.Г. Помяловским, которому он посвятил отдельную работу, имевшую в его судьбе драматические последствия. В этом интересе было, возможно, мало собственно “литературного”, но Либан считал, что историк литературы не может обойтись без того, что сейчас принято называть историческим контекстом. И в главе

об А.П. Сумарокове есть большое, но очень важное для историка литературы “отступление” в область образовательной системы того времени.

Для Либана вопрос — “какое отношение имеет война к классицизму?” — абсолютно закономерен, хотя читателя он может смутить не столько сутью своей, сколько формулировкой. Но Либан это делает специально, поскольку исследовательские открытия нередко рождаются из неожиданных парадоксов, и он очень хорошо это знает. Война — убежден Либан — имеет к классицизму самое “непосредственное” отношение: “Люди античного мира, их искусство, уклад жизни были образцами для теоретиков классицизма” [3, с. 230]. И А.П. Сумароков как человек военной закалки был органически открыт для подобной эстетической системы. А вот его наследник М.М. Херасков, тоже воспитанник Шляхетского корпуса, по мысли Либана, был более интересен не в своих классицистических сочинениях, хотя и в них тоже, но в лирических масонских стихах. Именно ему принадлежит заслуга создания “нового человека, рыцаря дворянской России”. Это не герой “в латах и с мечом”, но “рыцарь духа, новый человек либерального направления, для которого главное — его внутренняя жизнь” [3, с. 234]. Вообще Либан чрезвычайно высоко ставил М.М. Хераскова. В своих размышлениях уже о литературе 1840-х годов, самых сложных годах новой русской литературы, Либан о нем говорил так: “Жизнь можно было сделать куда лучше. Почему не сделали? Ведь Херасков предлагал идеальное устройство” [5, с. 398].

XVIII век у Либана становится понятным и живым, благодаря соотнесенности живущих в том времени людей и самой эпохи с настоящим. Это касается как “идеи веры и неверия”, так и понимания исторических фактов и реалий. “Самый большой страх у Екатерины, — писал субъективно недолголюбивающий императрицу Либан, — был перед революцией. Сперва считали, что с Пугачевым можно расправиться за неделю-другую. Вам это ничего не напоминает?” [3, с. 299]. У слушателей, конечно, возникали определенные ассоциации с живой современностью. XVIII век привлекал Либана тем, что в нем формировалась основа для духовных испытаний нового человека, отсюда создаваемая ученым история становления личности пронизана аллюзиями, которые отсылают читателя к последующим временам, например, к вопросам, волновавшим героев Достоевского или стоящим перед современной медициной, задумывающейся о проблеме эвтаназии.

Проблему “становления личности” в литературе невозможно, по мысли Либана, раскрыть без

изучения русского масонства, без внимания к развитию эпистолографии и зарождающейся демократической литературы, которая станет предтечей так называемой массовой продукции, трущобного популярного романа или повести, изучением которых Либан также занимался.

Значительный объем лекций по литературе XVIII века посвящен Н.М. Карамзину, который, по меткому выражению Либана, рос “в атмосфере Европы и России” и изобразил в своем творчестве человека “другой степени культуры” [3, с. 363, 362]. Карамзин представлен у Либана как сентименталист и преимущественно как автор двух фундаментальных своих работ о Европе и о России — “Писем русского путешественника” и “Истории государства Российского”. В обзоре этих текстов тоже немало “выходов” в будущее — например, к “Войне и миру” Л.Н. Толстого, фундаментом которой стало “карамзинское описание эпохи Грозного” [3, с. 407]. В собрании сочинений Либана есть также курс о Н.М. Карамзине-историке.

В либановском изложении курса по русской литературе XVIII века можно искать то, что в нем пропущено, но должно быть, — как это сделали рецензенты первого тома, уличив автора, например, в недостаточном внимании к реформе отечественного стихосложения [7], однако мы не станем искать изъяны подобного рода, потому что этот общий курс все же имеет свою исключительную задачу — высветить те метаморфозы, которые претерпел человек в литературе, от Петровского времени до эпохи Карамзина.

Свои лекции по русской литературе первой трети XIX века Либан называет “пропедевтическими”, но тем не менее ему удастся очертить “органическую связь между Жуковским и Пушкиным, Пушкиным и Лермонтовым” [3, с. 412] и идущими вслед за ними 40-ми годами XIX века. Либан предлагает свои штрихи к историко-литературному портрету В.А. Жуковского. Поэт, как полагает Либан, демонстрирует “странное физиологическое и психическое совпадение: при натуре идеальной, мечтательной, мистической в нем были сокровища веселости, смешливости, залогом карикатуры и пародии. Вздорное до гениальности” [3, с. 423]. Либан намеренно высвечивает не совсем знакомый читателю лик Жуковского, который тем не менее должен быть интересен исследователю. О творчестве же его Либан советует читать фундаментальный труд «Поэзия чувства и “сердечного воображения”» А.Н. Веселовского, почитателем работ которого он всегда был, даже в те годы, когда об этом ученом не очень было принято говорить. Основное внимание

Либан уделяет Жуковскому как переводчику и как воспитателю и педагогу. Это любимая тема Либана. Но выводы к главе парадоксальны: «Все течения, школы, которые потом возникли: символизм, акмеизм и другие “измы” — есть не что иное как заимствование и подражание лирике Жуковского» [3, с. 428]. И это не все. “Жуковский, — завершает свое повествование о нем как поэте и человеке Либан, — продолжает жить в своем творчестве, которое навсегда останется образом для создания русского стиха, а жизнь его — примером нравственного подвига в любых исторических условиях” [3, с. 429].

Лекции о Пушкине также очень емкие и плотные, и удивительно, что Либан успевает сказать главное, картина возникает целостная, хотя многое — это очевидно читателю — остается за пределами лекционного текста. Пушкин у него предстает как лирик, который “насытил русскую литературу, русскую жизнь <...> лирическим ощущением бытия” [3, с. 475], как автор ключевых поэтических и драматургических сочинений и романа в стихах “Евгений Онегин”. За изложением необходимого материала для каждого, кто изучает русскую литературу этого периода, вырастают мысли Либана-филолога о русской словесности и русской жизни и месте в этом Пушкина: “...для России литература — всегда больше, чем литература. Это прекрасный барометр общественно-психологического состояния нации”, а Пушкин точнее всех в художественном плане представил “мир идей”, который стал “определять мир вещей”, однако любим поэт читателю, прежде всего, за “человеческое”, “что никому не чуждо, — нетленно, не подвержено времени” [3, с. 433, 435, 441]. Именно “человеческая трагедия” лежит, по мысли Либана, в основе поэмы “Полтава”, она выступает там “во всей своей обнаженности и непримиримости”, и хотя все заканчивается русской победой, но “финал счастлив только с точки зрения государственных событий” [3, с. 447].

У Пушкина Либан выделяет такие темы, которые можно считать периферийными с точки зрения реализации центральных идей и мотивов, но Либану интересно именно то, что не очень хорошо заметно. Так, в “Капитанской дочке” он высвечивает мир русской “крепостной интеллигенции”, который заслуживает, по его мнению, “целого исследования” [3, с. 468]. А по отношению к Онегину позволяет себе заметить, что он “тот же русский человек, что и Татьяна” [3, с. 453]. Вообще в Пушкине Либан подчеркивает “умение видеть в другом человека”, что является “одним из важнейших моментов человеческого развития” [3, с. 476].

Эта же линия продолжается и в лекциях о М.Ю. Лермонтове, человеке, как справедливо отмечал Либан, уже 1840-х годов — прежде всего, по кругу идей и настроений, который выступил “совершенно самостоятельно <...> со своей темой — это скорбящий, страдающий мир героя” и который “не принимает социальное зло современной действительности”, он хочет “высшей справедливости” [3, с. 485, 489]. Отсюда и лермонтовский мистицизм, как полагал Либан, и эгоцентризм, и умение «ощущать “черное” и “белое”, поражение и торжество, добродетель и порок» как черты, присущие человеку [3, с. 492]. Отсюда и мощь лермонтовских обобщений и “человеческий” и живой нерв в его Демоне.

“Герой нашего времени” рассматривается Либаном как роман, который потом особенно отзывается в творчестве И.С. Тургенева. Имя последнего параллельно проходит через размышления ученого о филигранно выписанной Лермонтовым первой любви или о женской образности. Одно из открытий Либана — аналитический очерк о лермонтовской Вере, образ которой традиционно и несправедливо недооценивался. Нет штампов, в том числе в оценке Печорина. Для Либана этот персонаж — пример того, как Лермонтову удалось “гениально ухватить <...> черты слабости человека”. “Откуда это шло, — размышляет Либан, — от общего характера времени или от личных качеств человека — это уже тайна писателя, но он нам это раскрыл и показал” [3, с. 500].

Либан прошел свой путь понимания творчества Лермонтова, чему свидетельство — “опыт анализа” романа “Герой нашего времени”, который создавался в конце 1930-х годов (опубликован: [4]). Уже в этом раннем “опыте анализа” прослеживаются интересные параллели между Лермонтовым и Тургеневым, Лермонтовым и Достоевским, особое внимание уделяется “структуре образов” романа (обращаем внимание на явно несоциологическую терминологию Либана), в том числе их типологическому потенциалу: так, вышеупомянутая Вера рассматривается как “первая попытка” в русской литературе создания «образа “кроткой”», который в дальнейшем будет так важен для Достоевского.

В 1960–1970-е годы Либан обращается к изучению русской повести и русского романа, что отражено в его специальных лекционных курсах, читавшихся студентам Московского университета: “Из истории русской повести XIX века” и “Из истории русского романа” того же периода. Впервые опубликованные только сейчас, во втором томе собраний сочинений Либана [4], они не устарели в своем звучании, поскольку Либан смотрит

на явление не узко в историко-типологическом плане. Его привлекают контексты, самые разные, магистральные и периферийные линии и формы. Особенно это касается размышлений о русской повести, где Либан обращается к “демократической литературе”, т.е. его интересуют писатели, отражавшие в своем творчестве широкий в социальном и психологическом плане культурный срез. Либан намеренно не касается больших имен, но из так называемых второстепенных высвечивает персоналии как бы не очень замечаемые ранее — Ф.М. Решетникова, Н.Г. Помяловского, А.Н. Благовещенского, А.И. Левитова и, конечно, колоссальную фигуру Н.С. Лескова, который “сделал вызов” не только “индивидуалистическому бунту героев Достоевского” [4, с. 47], но и всей литературе его периода, разрабатывавшей те же темы, что интересовали и его. Нужно сказать, что эти общие темы, которые по-разному решались Достоевским, Львом Толстым, Тургеневым, Левитовым, Помяловским, Решетниковым и позже М. Горьким и др., — поле дискуссионных и очень интересных, до сих пор еще не вполне отрефлексированных наукой сопоставлений.

Одна из фундаментальных заслуг Либана — открытие Н.С. Лескова как писателя большого и самобытного. Специальный курс и фрагменты из спецсеминара по Лескову фиксируют основной “метод”, как его называет сам Либан, и принцип его размышлений о Н.С. Лескове — “на историко-литературном фоне 60–80-х годов XIX века” [4, с. 277]. Лекционная тематика заявлена и для сегодняшнего дня чрезвычайно смело и любопытно: “беллетристика 60–80-х годов, окружавшая Лескова”, и здесь опять возникает “соперник Достоевского” Левитов или полемист по отношению к А.И. Герцену и Л.Н. Толстому — Н.В. Успенский. Из всего этого “водоворота” сопоставлений и скрещений (одна из “параллелей” — А.Ф. Писемский и Н.С. Лесков, отсюда и метафора) рождается такое удивительное явление, как мир Лескова, в котором, оказывается, “можно примирить жизнь с Платоном и Евангелием” и «передать чувство веры “за пазухой”» [4, с. 283, 293]. Обзор творчества Лескова по-лекционному краткий, но емкий, в нем есть место и малым, и крупным лесковским формам, романам-хроникам, в которых писатель решает трудную задачу создания “общерусского”, или “всесословного” романа. У Лескова, убежден Либан, может быть лучше, чем у любого другого русского писателя, показана Россия — “естественная русская тягучая жизнь, повседневная обычность, русость” [4, с. 321]. И как не вспомнить тут ставшее уже крылатым утверждение Либана: “Я считаю Лескова наиболее русским писателем

в том смысле, что у него все построено на слове” [4, с. 340], высвечивающее особый путь русской литературы, всегда хранящей память о том, что слово — сущность не только эстетическая.

Главы о “Соборях” Лескова содержатся и в специальном курсе по истории русского романа XIX века, задача которого — показать историческую динамику романских форм, поэтому разделы о романах ведущих писателей середины века выстраиваются не в монографическом ключе, хотя и строгой хронологии следовать Либану тоже не удастся. Либана беспокоит, как он сам признается, та “сторона курса”, которая связана с многообразием типологических форм русского романа и которую он не в силах осветить в своих лекциях, и тем не менее намечает перспективы изучения тех образцов романного жанра, что создают «многочисленную, как теперь говорят, “литературную продукцию”» [4, с. 77, 73]. Либан одним из первых обратился к так называемому трущобному роману, специальный курс об этой форме был им прочитан в стенах Московского университета. При этом Либан справедливо отмечает, что хотя он и будет «по необходимости <...> обращаться к таким терминам, как “психологический” роман, “социальный” роман, “антинигилистический” роман», но считает, что “это все совершенно разные вещи”, “которые идут у нас и в учебниках, и не только в учебниках, а в монографиях, на совершенно равных правах” [4, с. 71], что совершенно несправедливо. В настоящем же курсе Либан позволяет себе сосредоточиться на “одном аспекте”, или вопросе: какие проблемы ставил русский роман за тридцатилетие своего расцвета, которое “определило собой развитие мировой литературы”? [4, с. 71]. Задача масштабнейшая. Не менее велика задача другая, остающаяся за пределами курса, но из него вырастающая: создание истории русского романа, которая объединит все линии. Она, как полемически настаивал Либан, “еще не написана” — и это несмотря на наличие уже к тому моменту академической двухтомной истории русского романа — “и едва ли скоро будет написана” [4, с. 77].

Важное место в курсе Либана о русском романе отведено Тургеневу (с него начинаются лекции, романистика первых этапов золотого романного тридцатилетия именуется “тургеньевской литературой”, с которой вступают в творческий спор многие современники), Гончарову, Достоевскому и Льву Толстому, но не обойдены вниманием и Писемский, и, как уже отмечалось выше, Лесков. Несмотря на то что любой специальный курс зажат рамками лекционных часов, “История русского романа XIX века” Либана — труд капитальный, в котором автор касается практически всех

ключевых романских явлений 1850—1880-х годов. Он нисколько не устарел, несмотря на то, что научный язык описания изменился, да и работ по истории русского романа со времен курса Либана тоже появилось немало. Но Либан пишет историю русского романа как историю идей, которыми жило общество и которые свидетельствовали об особом и меняющемся статусе человека, предлагая своему слушателю (читателю) единую целостную картину, где все взаимосвязано и все развивается, и эта связь определяет простоту и стройность курса.

Дать сколь-либо развернутую характеристику очеркам об истории русского романа сложно, но хотелось бы подчеркнуть некоторые моменты, которые поданы Либаном так, что могли бы дать импульс для новых исследований. Например, трансформации романного героя и романной героини — от Пушкина к Тургеневу — Либаном представлены так: “Как все изменилось! Вы помните, с какой простотой и легкостью Онегин читал проповедь? Теперь совсем по-другому. У Тургенева не Рудин читает проповедь, а ему читают проповедь. А почему? Ну, это вопрос очень интересный и, может быть, не для сегодняшнего решения” [4, с. 94]. Или проблемы натурализма в романе, который был чрезвычайно значителен в России середины XIX века, в лекциях о Писемском освещены следующим образом: “Я думаю, что все натуралисты нудные, включая и французских, потому что они ставят перед собой две совершенно несовместимые задачи — говорить языком искусства и говорить языком науки одновременно. Это невозможно. В этом и беда натурализма, что он решил быть заменителем науки, что он решил сказать больше, чем может искусство” [4, с. 142]. А вот Достоевский, который тоже был открыт для натурализма и “всю жизнь изображал патологию, умел преодолевать этот натурализм и патологическое изображение” [4, с. 186]. Либан считает Достоевского “разночинным писателем” [4, с. 182], и в целом рассуждения о социологии его романов в высшей степени интересны и сейчас. Не менее актуально звучит вопрос об “Аустерлице Раскольникова” [4, с. 179], который связан с проблемой “неограниченного поступка” человека в романистике Толстого и Достоевского. “Главную и основную идею XIX века”, отраженную в русском романе, Либан связывает с социализмом [4, с. 251], хотя и расшифровывает эту ситуацию иногда узко — как антидворянскую тенденцию. Но имеются в виду и самые широкие вещи: как “разный социализм” — “феодальный”, “научный”, “утопический”, “христианский” — находил свое воплощение в идейной структуре русского романа

[4, с. 257]. Словом, у Либана пытливым читатель найдет немало зерен, из которых может вырасти его собственное научное изобретение. Либановская история русского романа, особенно вкупе с его специальными курсами о Лермонтове, Лескове, Помяловском, о русском бульварном, или трущобном романе — значимая веха в его Истории русской литературы, начиная с глубокой древности и кончая XX веком.

Очертив общую логику курса о русском романе, позволим себе несколько подробнее остановиться на лекциях о Тургеневе, не только потому что Либан именно его считал создателем классического образца романного жанра в России (этот тезис, безусловно, неоспорен), но и в силу исследовательских интересов автора настоящей статьи.

Лекции о Тургеневе, как и курс в целом, спаяны у Либана мыслью о человеке. Либан предлагает очень интересный подход к тому, как Тургенев видит современного человека и ключевой нерв его бытия. Примечательно, что такой разговор оказывается возможным в тот момент (лекции читались в начале 1970-х годов), когда еще не были широко известны или же вовсе не были написаны монографии о тургеневском романе, которые сейчас вошли в золотой фонд тургеневедения. Книга А.И. Батюто “Тургенев-романист” увидела свет в 1972 году [8], чуть раньше вышла фундаментальная статья Л.И. Матюшенко “О соотношении повести и романа у Тургенева” [9], а монография В.М. Марковича “Человек в романах Тургенева”, наиболее близкая к проблемному стержню лекций Либана, появилась в 1975 году [10]. К тому же в работе В.М. Марковича речь идет об “уровнях человечности”, которые зависят от духовных качеств человека, а точнее, от степени внутренней свободы того или иного героя по отношению к обществу. В чем-то модель подхода ученого к “человеку в романах Тургенева” напоминала человеческую иерархию, предложенную Н.Г. Чернышевским. Иное мы видим в лекциях Либана, когда речь идет о человеческой доминанте тургеневских текстов.

Либана привлекает в Тургеневе-романисте не иерархичность, он не стремится выявить социальную или нравственную классификацию человеческих типов — ему интересно то, как Тургенев передает самое существенное, что мучит и волнует его современников, ту духовную почву и внутренний конфликт, в котором они живут. По мысли Либана, все персонажи у Тургенева, кто в большей, кто в меньшей степени, оказываются вовлечены в общий ход жизни и выражают “духовное, или философское, направление своего века” [4, с. 89]. Это и есть для него как историка литературы самое

интересное в русском романе и в тургеневском в том числе: как в героях отражается это общее направление века.

Не случайно Либан начинает свои лекции о Тургеневе с того, что кристаллизующийся в творчестве писателя роман он рассматривает как своего рода бунт против всеобъемлющего социального фактографизма “натуральной школы”. Последняя ставила перед собой задачу дать социальную характеристику персонажа “и в общем, и в отдельных проявлениях”. Человек в “натуральной школе” любопытен был исключительно как “элемент чисто социальный”. Тут все было важно: “и костюм, и заработок, и болезни, и кров, и все прочее” [4, с. 88]. Но Тургенев-романист пошел далее, уже по линии “обобщений”. За ним устремились, по мысли Либана, и другие, в том числе Гончаров (что, видимо, не так уж и бесспорно звучит сейчас), однако именно Тургенев “первым отошел от фактографии” и “стал интересоваться не частным, а общим, не психологией того или иного социального направления, а психологией того или иного духовного, или философского, направления” [4, с. 89], что, однако, имело прямое отношение к ключевой задаче личного существования каждого человека. В этом видит Либан особую заслугу Тургенева.

Тургенева как “писателя-реалиста” (а представить себе, что в 1970-е годы можно сказать иначе, просто невозможно), по мысли Либана, конечно, волнует социальная сущность человека, но он как художник ее представляет через “психоидею” [4, с. 90]. Либан справедливо говорит о том, как бы “вульгарный социолог” объяснил сущность, например, такого тургеневского персонажа, как Василий Васильевич из “Гамлета Щигровского уезда”. Он сказал бы, что это “небокопнитель”, тогда как у Тургенева все иначе. Главный вопрос для его героя: “для чего он живет?”, “какой смысл в моем бытии?” То есть “сущность вещей — это не загадка, а вот он сам — загадка” [4, с. 90]. Это такой экзистенциальный ракурс, не названный, естественно, у Либана еще своим именем.

Исключительно интересно Либан трактует знаменитый лиризм тургеневских романов. Он говорит: у Тургенева важно “проявление личности в лирическом аспекте” [4, с. 96]. Вроде бы в этой мысли о довлеющем тургеневском лиризме нет ничего принципиально нового и особенного, однако, по мысли Либана, лирическая интонация пейзажа, например, обладает одним важным свойством, имеющим прямое отношение к тургеневскому видению человека. Тургеневский пейзаж, как полагает Либан, “освещен внутренней красотой человека”, той “красотой, которую Тургенев всегда

видел в человеке” [4, с. 96]. И даже если у него герои и делятся “на два лагеря” — “одних он описывает и отстраняет от себя”, а “другие идут все время вместе с автором, он в них заинтересован” [4, с. 96], — то это происходит не потому, что одни выше с точки зрения своего “уровня человечности”, то есть не по причине своих иерархически определяемых качеств, а ввиду авторской субъективности, той неуловимой симпатии, не всегда, кстати, оправданной и объективной, которую автор и не отрицает. У Тургенева есть любимые герои, но не столько потому, что они ментально ему близки, а потому, что он как романист позволяет себе быть не объективным и просто по-человечески симпатизировать им.

Либан цитирует М. Горького: “Читаешь Тургенева — и мир делается чище. Какие красивые люди!” И замечает: “Вот, оказывается, что удалось Тургеневу” [4, с. 97]. Либановские размышления о человеке в романах Тургенева — в это нелегкое в идеологическом плане время 1970-х годов — венчаются констатацией внутренней красоты человека, а не его социальной функциональности.

В лекции о “Дворянском гнезде” Либан возвращается к социальному дискурсу, о котором в принципе он и не забывает, но иногда в нем автору бывает тесновато. И все же в связи с “Дворянским гнездом” Либан говорит о том, что к моменту создания романа “основной клин вбит в могилу дворянства” и “нужно идти другим путем и искать других героев” [4, с. 98]. Имеется в виду, что дворянский герой оказывается не актуален. Однако социальный ракурс как-то сам собой преобразуется в лекциях Либана, разговор выводится на уровень конфликта идей, составляющих “духовное направление” эпохи. Речь заходит о славянофильстве и западничестве, которые у Тургенева несколько не представлены в той системе координат, которая предполагает только плюс или только минус.

Западничество как у Тургенева показано? — задается вопросом Либан. Никаких идей умозрительных собственно и не высказано (если не считать пародию на них в лице Паншина — добавим от себя). А показаны все эти идеи через личную драму Лаврецкого — историю его бегства из Европы в родной дом (своего рода возвращение блудного сына). А славянофильство как показано? — тоже никаких лозунгов и умозрений. Славянофильство высказывается осторожно в той линии романа, в которой представлена история Лизы и Лаврецкого. И здесь перед читателем возникают персонажи — причем не только Лиза, но и Лаврецкий в своем потенциале тоже, хотя Либан и полагает,

что Тургенев “сохранил ему позу” [4, с. 113], — как носители “духовной красоты, благодаря которой существует нация” [4, с. 111]. Вот такая получается “социология” у Тургенева, согласно Либану. И далее о Лизе: «Когда исчезнут эти праведники, когда не будет этих людей, способных выдержать все тревожения жизни и не уйти ни в какие компромиссы, тогда “несть граду стояния”» [4, с. 111].

Однако тут начинается самое любопытное. Либан задается вопросом: “Что, человек славянофильского направления, Лиза Калитина — ученица Хомякова или Самарина, или ее тянет в европейские дали? Нет, не читая Хомякова или Самарина, она познала, что есть мир прекрасных чувств национального бытия”. “Вот здесь Тургенев, желая или не желая, а все-таки изобразил славянофильский мир, внутренний мир” [4, с. 113], — полагает Либан. Но изобразил его вне сформулированных постулатов, а самим образом Лизы, ее молчанием и молитвой.

Ключевая дилемма времени, важнейшая идеология эпохи — противостояние между славянофильскими идеями и идеями западников — разрешается у Тургенева, по мысли Либана, вне прямого столкновения формализованных идей, вне умозрительных построений и систем, но в живом движении человеческих жизненных привязанностей. Оба героя — и Лиза, и Лаврецкий — как известно, в какой-то момент обнаруживают, что они русские люди, что они и чувствуют, и думают одинаково, что им нравятся и не нравятся одинаковые вещи. Они могут ничего не говорить, но их мысли понятны.

Разрешен ли в романе Тургенева духовный конфликт, который высвечивает в своих лекциях Либан? Он примирен лишь в личных переживаниях и сердечных решениях двух его героев — но как образ-модель возможного выхода из духовного кризиса, в который зашел современный человек, их путь может оказаться востребован.

Трудно согласиться с Либаном, что для Лизы Калитиной после ухода в монастырь “наступила смерть”, “ибо тот, кто за каменной монастырской стеной, воли своей не имеет” [4, с. 113]. По логике Либана, метафорическая смерть наступает и для Лаврецкого: то, что герой научился землю пахать, как следует из романного эпилога, для Либана лишь “авторский прием”, выражающий несостоятельность героя. Либан называет роман Тургенева “прощальным”, поскольку в нем писатель прощается с дворянским миром и с дворянским героем. Однако намеченный ранее разговор о “духовной красоте” тургеневских центральных персонажей

с очевидностью ставит под сомнение эту идейно-социальную логику Либана.

Новую страницу в изучении “духовного направления” своих современников Тургенев, как полагает Либан, сделал в романах “Накануне” и “Отцы и дети”. Это будет, как заметит автор, уже “другой материал” [4, с. 115], то есть не дворянский — уточнили бы мы. Духовный конфликт, представленный в этих романах, Либан формулирует в привычной системе координат: как столкновение классов и идеологий. Это конфликт между либералами и демократами, между дворянами и разночинцами. Однако тут же Либан вспоминает диссертацию Чернышевского “Эстетические отношения искусства к действительности” и оценку ее Тургеневым, фактически переводя обозначенный конфликт на уровень уже этико-эстетических и шире — онтологических противоречий. Именно они окажутся важнейшими границами этого нового духовного конфликта 1860-х годов.

В лекциях Либана о романе “Накануне” сказано мало, чуть больше внимания уделено “Отцам и детям”. Сказано немного, но очень верно. Либан начинает от противного: что это не антинигилистический роман, поскольку “антинигилистических романов... на свете не существует. Есть хорошие романы, и есть плохие” [4, с. 116]. При этом Базаров для Либана — прежде всего, разночинец (хотя он не разночинец вовсе, а только желающий так выглядеть дворянин). И этот герой оказывается, по мысли Либана, “интеллектуально выше того спокойного, тихого мира, той прекрасной заводи, старинного вальса, липовой аллеи, что видим у Тургенева ранее” [4, с. 117]. И тут же сопровождает свои размышления о том, что однако же все это не вздор, а только кажется несущественным в жизни. Поэтому тургеневский Базаров и любит, и чувствует, и страдает точно так же, как не разночинец Кирсанов или “современный Ромео”, герой повести “Ася”, названный так Чернышевским. А позже, уже о романе “Дым”, Либан скажет: Тургенева «больше всего <...> поразило, что в этом мире (речь идет о “газообразном состоянии” России. — *И.Б.*), в этих событиях, во всех этих происшествиях человеческое чувство осталось прежним» [4, с. 234]. В этом утверждении — зерно концепции романа “Дым”, точно схватывающая его основную нерв.

Социологизм Либана, о котором он любил говорить как о важнейшем для него методе изучения литературы, тем отличался от “вульгарного социологизма”, что не подвергал человека, изборожденного романистом, классификаторской деструкции (что в принципе не исключает интерес

Либана к типологии), хотя и соотносил с той или иной группой, которой свойственна определенная “социальная психология”. Однако одно из важнейших качеств социологизма Либана заключалось в том, что ему был интересен художник, изучающий человека как средоточие идей своего времени, как выразителя духовного кризиса своего социума. Он потому так высоко ставил Тургенева-романиста, что в его романе не умозрительно сходились разные идеи и социальные позиции, а события при этом разворачивались бы уже на фоне этой битвы, но потому, что психологический, идейный, духовно-нравственный конфликт составлял в романах писателя важнейший камертон человеческой жизни, определял все ее частные нужды и личные решения персонажей. Именно так было у Тургенева: через “целую эпоху человеческих отношений” [4, с. 233] выражалось “духовное направление” общества.

Заключает Либан свои лекции о Тургеневе (в главах о “Дыме” и “Нови”) сонетом Петрарки, где речь идет о “сплаве” “дум золотых” о “ней”, о Мадонне. Подобный “сплав” видит Либан и в романах Тургенева, который “раскрыл нам какую-то одну из существенных сторон русского национального характера. И недаром эти романы так хороши для изучения психологии, социологии, национального склада, хотя в них так много неполноты и промахов” [4, с. 236].

Один из фундаментальных замыслов Либана — проект “Люди и книги 40-х годов XIX века”, — над которым он работал в последние годы (см. в кн.: [4]). Этот материал представляет собой краткий очерк размышлений Либана об “одном из самых интересных периодов собирания русской литературы XIX века, того изумительного явления, которое в свое время поразило европейский мир” [4, с. 351]. Это время всегда было интересно Либану. Всегда, когда заходила речь об этом периоде, он обращал внимание на особую концентрацию идей в России именно в 1840-е годы, что было обусловлено “общим мировым движением идей” [4, с. 351]. Либан предполагал говорить в рамках этой своей работы не только о “художественно-литературной” жизни, но и о “жизни повседневной”, о “политической, фактической и моральной жизни общества того времени” [4, с. 351]. В его наблюдениях над “людьми и книгами” очень много “героев”: В.С. Печерин, П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, А.С. Хомяков, семья Аксаковых, Н.В. Станкевич, И.А. Гончаров, А.А. Григорьев, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и мн. др. Либан предполагал взглянуть пристально на одно десятилетие XIX века, чтобы не разделять высокое и обыкновенное, нужное и маловажное, чтобы

это десятилетие было понятным (о проблеме понимания как одной из значимых для него в данном случае Либан говорит в начале работы) для *историка* литературы. В третьем томе его сочинений [5], в разделе “Биографическое”, темы предполагаемого, но так и не написанного труда Либана представлены полнее и системно. Среди них: “Христианский социализм”, “Славянофилы и западники”, «Писатели “натуральной школы”» (это определение Либан не любил и объяснял почему) и тематика их произведений — простонародье, повседневные мелочи, язык народа (“веселость языка” у В.И. Даля, например), соотношение “двух миров”, героя и среды [5, с. 398–401]. Либан предполагал говорить о романтизме в 1840-е годы, об атеизме, вспоминая в том числе век XVIII, и, конечно, о социализме.

Работы Либана о Н.Г. Помяловском и его “Очерках бursы” (в кн.: [4]) составляет основной корпус предполагавшейся им к защите кандидатской диссертации. Работа представлена в том числе главами, в которых изложена “история просвещения в России” и такое явление, как “бурсак в общественной жизни России середины XIX века”. В публикации [4] она сопровождается комментариями, в которых представлена переписка Либана с профессором Г.Н. Пospelовым по вопросу уместности включения в литературоведческую работу “собственно педагогического материала (истории бursы, да еще дворянской школы!)” [4, с. 549–550]. Ответ Либана представляет собой пример научной стойкости, хотя ему пришлось в итоге отказаться от защиты диссертации. В его письме к Г.Н. Пospelову изложены научные принципы, которые составляют основу большинства его работ. «Я твердо уверен, — пишет Либан, — что исследователь только организует материал, а не подчиняет его заранее намеченной цели. Я шел этим путем и думаю, что он верен. <...> Думаю, что выявление причин массового роста демократической литературы 60-х годов, появление целой армии писателей-разночинцев — вопрос далеко не изученный. Что же представляет из себя писательская культура этого слоя — об этом вообще никто не писал. Писатели не падают с неба, все разговоры о самородках — наивны. Для того чтобы стать писателем, нужно двенадцать-пятнадцать лет школы. <...> Школой разночинца была бурса <...>. Вот почему я так настойчиво провожу мысль, что изучение истории школы на фоне истории сословия есть реальный комментарий к “Очеркам бursы”» [4, с. 652]. Либан признавался Г.Н. Пospelову, что его “замечания вбиты, как гвозди, хочу их выдернуть и не могу” [4, с. 653], но изменить свою концепцию и свое понимание истории литературы, в которой

есть место не только для вершинных явлений, он не мог. И продолжал работать и учить в том ключе, который считал сам научно оправданным.

Портрет Либана-ученого был бы неполным без публикации многочисленных конспектов и планов его лекционных курсов и историко-литературных изучений, а также рецензий и отзывов на исследовательские работы своих коллег и учеников, которые являются интереснейшими свидетельствами научной школы Либана [5]. Умение писать рецензии он всегда ценил в своих воспитанниках, считал эту работу ключевой в профессиональной практике. Публикуемые рецензии на работы учеников и характеристики тех из них, кто желал продолжить свою ученую карьеру, невелики по объему, но честны и точны. Либан с полным правом мог сказать о себе: “...Все ученики, которые у меня учились, любимы мною. Все без изъятия. Часто брал неспособных и делал людьми” [5, с. 363]. Третий том содержит также воспоминания, “портреты филологов”, очерк “Из истории филологического факультета МГУ за 60 лет”, которые также тесно связаны с преподавательской деятельностью Либана, Московским университетом, жизнью Москвы и страны на протяжении почти всего XX века.

Том открывает публикация лекции, посвященной “125-летию со дня рождения И.А. Гончарова” (1937). Она является ярким свидетельством времени и демонстрирует, особенно в совокупности с более поздними лекциями о русском романе и романах Гончарова в частности, какой путь прошел Либан как ученый и преподаватель. Далее представлен один из самых известных курсов Либана “Н.Г. Чернышевский в русской критике XIX века”, который он читал в 1961–1962 годы, и несколько курсов, посвященных его любимым Карамзину и Лескову: “Историческая тема в художественных произведениях Н.М. Карамзина” (1969–1970), «Роман Н.С. Лескова “Соборяне”» (1985), “Н.С. Лесков в кругу писателей XIX века. Из спецкурса” (1998). Лекции по “Литературе второй половины XIX века” (1989) определены как “фрагменты спецкурса” и содержат материалы о А.Н. Островском, Достоевском (в том числе о его “умном романе” “Идиот”) и Н.С. Лескове. К ним примыкает “Возникновение русского театра” в виде конспекта лекций, предположительно конца 1950-х годов. В разделе “Работы разных лет” представлены «Материалы к монографическому анализу “Героя нашего времени” М.Ю. Лермонтова» (датирована концом 1930 — началом 1940-х годов), очерки-лекции из истории русской критики, посвященные роли “Либеральной критики в литературном процессе 60-х годов XIX века”

и непосредственно о П.В. Анненкове-критике (середина 1950-х годов), очерк о Феодосии Печерском (1950-е) и даже — уже в Приложении — представлены некоторые фольклорные записи Либана (в основном, сохранились зафиксированные им “молитвы” — приворотная, урочная, охотничья — и “плачи”), сделанные им в экспедициях, в годы обучения в аспирантуре МИФЛИ в 1937–1940-х годах, которые оттеняют еще одну грань научного дарования Либана, считавшегося коллегами “фольклористом по призванию” [5, с. 560].

История русской литературы лично для Либана заканчивалась началом XX столетия. “Не все мои писатели — от Древней Руси до XIX века. В современных я ничего не нахожу. Это не мой мир”, — говорил он [5, с. 388]. Такая у Либана была позиция, которую он объяснял необходимостью дистанции для литературно-критического понимания явления, но не только. В современной литературе его отталкивало “оскудение душевности”, “вместо любви — в основе ненависть (классовая борьба)”, “не соединение душ, а разъединение” и то, что “уникальность личности сведена до винтика”. Можно с этими и другими подобными утверждениями Либана полемизировать, конечно, но он имел право на свой выбор и не выходил за пределы “литературы прошлого — мимоидущего лика земного, который соприкасается с вечностью”, литературы, которая демонстрирует читателю, что “корни всего, происходящего здесь, — в мирах иных” [5, с. 388]. Так полагал ученый, предпочитавший называть себя “социологом” в науке.

Большинство материалов, кроме воспоминаний, портретов филологов и некоторых рассказов, публикуются впервые, но позволим себе заметить, что они могли бы смотреться органичнее в предыдущих томах и разделах, близких к ним проблемно-тематически, во избежание повторов и с целью лучшего понимания всех трансформаций и констант историко-литературной мысли ученого.

Композиционной доминантой третьего тома можно считать все же не столько историко-литературные разработки Либана, но именно его летопись филологического факультета, воспоминания, которые дают прекрасное представление о том, что для Либана значило быть филологом. Это чрезвычайно ценный исторический документ, отражающий одновременно и основную характеристику времени, и его личное понимание целей и задач филологической науки. Стоит заметить, что в своих лекционных курсах Либан часто обращался к вопросу о филологии, поэтому его мемуарная история связана и с его главным трудом — Историей русской литературы. На непростой вопрос,

что же такое филология — наука или нет, Либан отвечал с иронией: “Филология — это наука. Очень большая! Очень значительная. Почему считают, что это не наука? По очень простой причине: потому что этой наукой овладеть чрезвычайно трудно. Ох, очень много нужно для этого. Подготовка. Память. Усидчивость. И... немножко таланта. Филология именно отличается умом. Без ума там ничего не сделаешь” [5, с. 368]. Разделение филологии на литературоведение и лингвистику Либан считал “неправильной и страшной ошибкой”, потому что филолог невозможен без обращения к художественному материалу, а лингвисты этим иногда пренебрегают. И “древние языки нужны всем филологам”, — Либан в этом был убежден. “Отсутствие их в образовании для всех филологов не то что губит филологию, а обедняет, обедняет до невозможности” [5, с. 361]. При этом он спешил вспомнить высоко ценимого им А.Н. Веселовского, книги которого всегда приносил на занятия, и его студенты их читали даже тогда, когда ученый был почти забыт. «Вот что подводит современных филологов?» — спрашивал Либан сам себя и отвечал: “То, что они “народ одноязычный”, — знает один язык или два языка, и ему кажется, что он уже все понимает, а здесь сотни языков, буквально! Когда читаешь, например, Александра Николаевича Веселовского, надо все время обращаться то к одному словарю, то к другому, то к третьему. Это россыпь языков» [5, с. 361].

Филологию Либан рассматривал как служение. Он вспоминал, что когда «работал замдекана на заочном отделении, <...> говорил выпускникам: “Выше подымайте стяг апостольского живого слова!”» [5, с. 391]. И филологическую область считал даже сферой “опасной”, объясняя это тем, что “это слишком сложная вещь”, “пересекаются лингвистика, история литературы, история культуры, гражданская история”, и, чтобы это “все охватить”, человек должен “ всю жизнь работать, всю жизнь читать, всю жизнь сравнивать”. Филологом нельзя стать быстро, написав работу, защитив диссертацию: филология — это вся жизнь человека, который “где-то в 90 лет <...> может сказать: да, теперь я понимаю, что такое история литературы” [5, с. 410].

Сейчас у нас осталось только письменное слово Либана, но оно не хуже устного, поскольку не теряет обаяния и удивительной веселости его живой речи. Книги Либана нужно обязательно читать, причем не только тем, кто знал или кто учился у Либана, но и тем молодым, начинающим исследователям, которые хотят учиться, хотят стать историками литературы, а значит, и филологами.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Кормилов С.И.* Собрание сочинений и выступлений выдающегося гуманитария // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2017. № 6. С. 133–161.
2. *Беляева И.А.* Н.И. Либан // Русские литературоведы XX века. Библиографический словарь. — М.; СПб.: Нестор-История, 2017. Т. 1. С. 449–451.
3. *Либан Н.И.* Русская литература: Лекции-очерки. — М.: Прогресс-Плеяда, 2014.— 584 с.
4. *Либан Н.И.* Русская литература: Лекции о русской литературе. Работы разных лет. Из архива. — М.: Водолей, 2015.— 696 с.
5. *Либан Н.И.* Русская литература: Лекции. Работы разных лет. Биографическое. Проза. — М., 2017.— 600 с.
6. *Либан Н.И.* Лекции по истории русской литературы: От Древней Руси до первой трети XIX в. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005.— 464 с.
7. *Федотов О.И., Шелемова А.О.* Либан Н.И. Русская литература. Лекции-очерки. М.: Прогресс-Плеяда, 2014. 584 с. // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2016. № 6. С. 164–172.
8. *Батюто А.И.* Тургенев-романист. — Л.: Наука, 1972.— 389 с.
9. *Матюшенко Л.И.* О соотношении жанров повести и романа в творчестве И.С. Тургенева // Проблемы теории и истории литературы. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. С. 315–326.
10. *Маркович В.М.* Человек в романах И.С. Тургенева. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975.— 154 с.
- University Bulletin. Series 9: Philology]. 2017, № 6, pp. 133–161. (In Russ.)
2. Belyaeva, I.A. N.I. Liban [N.I. Liban]. *Russkie literaturovedy XIX veka. Bibliograficheskij slovar'* [Russian Literary Critic Scholars of the Twentieth Century. Bibliographic Dictionary]. Moscow, St. Petersburg, 2017, Vol. 1, pp. 449–451. (In Russ.)
3. Liban, N.I. *Russkaya literatura: Lekcii-ocherki*. [Russian Literature: Lectures-Essays]. Moscow, 2014. 584 p. (In Russ.)
4. Liban, N.I. *Russkaya literatura: Lekcii o russkoj literature. Raboty raznyh let. Iz arhiva* [Russian Literature: Lectures on Russian Literature. Works of Different Years. From Archive]. Moscow, 2015. 696 p. (In Russ.)
5. Liban, N.I. *Russkaya literatura: Lekcii. Raboty raznyh let. Biograficheskoe. Proza*. [Russian Literature: Lectures. Works of Different Years. Biographical. Prose]. Moscow, 2017. 600 p. (In Russ.)
6. Liban, N.I. *Lekcii po istorii russkoj literatury: Ot Drevnej Rusi do pervoj treti XIX v.* [Lectures on the History of Russian Literature: From Ancient Russia to the First Third of the 19<sup>th</sup> Century]. Moscow, 2005. 464 p. (In Russ.)
7. Fedotov, O.I., Shelemova, A.O., Liban, N.I. *Russkaya literatura. Lekcii-ocherki* [Liban N.I. Russian Literature. Lectures-Essays]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya* [Moscow University Bulletin. Series 9: Philology.]. 2016, № 6, pp. 164–172. (In Russ.)
8. Batyuto, A.I. *Turgenev-romanist*. [Turgenev — Novelist]. Leninrad, 1972. 389 p. (In Russ.)
9. Matyushenko, L.I. *O sootnoshenii zhanrov povesti i romana v tvorchestve I.S. Turgeneva* [On the Correlation of the Novel and Short Story Genres in the Work of I.S. Turgenev]. *Problemy teorii i istorii literatury*. [Problems of the Theory and History of Literature]. Moscow, 1971, pp. 315–326. (In Russ.)
10. Markovich, V.M. *Chelovek v romanah I.S. Turgeneva*. [The Man in I.S. Turgenev's Novels]. Leninrad, 1975. 154 p. (In Russ.)

## REFERENCES

1. Kormilov, S.I. *Sobranie sochinenij i vystuplenij vydayushchegosya gumanitariya* [Collected Works and Speeches of an Outstanding Humanitarian]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya*. [Moscow